

ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

М. ШОЛОХОВ
В. СТАВСКИЙ
В. КУДАШЕВ
Б. ЛЕВИН.
В. КИРЕЕВ

ПОЭМЫ И СТИХИ

А. ГИДАШ
Э. Х. ВАФА
Вл. РЕЗЧИКОВ
М. ИСАКОВСКИЙ
Ю. и В. КРТЯНЦ-ИВЛИЕВЫ

ЖИЗНЬ НА ХОДУ

Г. КИШ
В. ХАНДРОС
А. БОБУНОВ
Ф. ФЕДОТОВ
ГАРТ СВИТ

К Р И Т И К А

И. НОВИЧ
Е. ЗЛАНОВА

БИБЛИОГРАФИЯ

К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1

9

3

2

№ 1.

Стр. 190.

В. Луговской — Интернационал, стих. М. Шолохов — Тихий Дон, роман. В. Ставский — Зарницы (3 книга „Станицы“) и Луговской — Пудинг безработных, стих. Н. Ляшко — Рассказы. **ЖИЗНЬ НА ХОДУ:** Г. Киш — Германия сегодня. З. Чаган — Усилия (главы из книги „О Магнитострое“). В. Шуликов — Мечтатели и мастера. **ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ:** Ф. Панферов — Говорите голосом книг. А. Сурков — Через творческое размежевание к подлинной консолидации. **ПУБЛИЦИСТИКА:** Д. Заславский — Спекуляция на плане. И. Ерухимович — Изобличающий документ. **КРИТИКА:** Л. Авербах — За ленинскую партийность творческого метода. Н. Плиско — О „Разбеге“ В. Ставского.

№ 2.

Стр. 190.

М. Шолохов — Тихий Дон, роман (продолжение). А. Сурков — Застава Ильича, стих. Вилли Бредель — Улица Розенгоф (отрывки из романа). Вл. Луговской — Вахшстрой, стих. Вас. Кудашев — Камень на дороге, роман. Евг. Павличенко — Северный поход, стих. **ЖИЗНЬ НА ХОДУ:** Г. Киш — Карьера Адольфа Гитлера (продолжение). М. Запрудный — Лесорубы. Ив. Семенцов — Мистер Томас (глава из книги „Записки автогенщика“). В. Хандрос — В стране Мирабилита. В. Шуликов — Мечтатели и мастера (окончание). **ПЕРЕЖИТОЕ:** Ф. Федотов — Фирма „Да-Шен-Ку“. **ПУБЛИЦИСТИКА:** Мих. Попов — Одна из великих побед техники. **КРИТИКА:** С. Нельс — „Последний из Удэге“ — А. Фадеева. **БИБЛИОГРАФИЯ:** А. Михайлов — М. Добрынин — Против механистов и электиков. Б. Бакинский — В. Каверин — „Художник неизвестен“. С. М-с — Эмиль Мадарас — „Борьба Павла Чигаиды“.

Государственное Издательство Художественной Литературы

Принимается подписка на 1932 г.

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ,
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПРОЛЕТАРСКИЙ АВАНГАРД

ПЯТЫЙ ГОД
ИЗДАНИЯ

Весь материал журнала в 1932 г. будет строиться в свете задач четвертого года пятилетки являющегося последним этапом в победоносной борьбе пролетариата за развитие и укрепление фундамента социалистического общества.

„ПРОЛЕТАРСКИЙ АВАНГАРД“ освещает героико социалистического строительства и ведет борьбу с враждебными новому обществу пережитками на идеологическом, культурном и бытовом фронтах

ЖУРНАЛ РАССЧИТАН на передовые кадры рабочих и колхозных масс, трудовой интеллигенции и молодежи от станка и трактора.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА:

1. Художественная проза и стихи. 2. Героика труда. 3. На фронтах пятилетки. 4. Наши достижения. 5. Обзоры внутренней жизни СССР. 6. За рубежом. 7. Наука и техника. 8. Культура и искусство. 9. На литературном фронте. 10. Трибуна писателя. 11. Критика и библиография. 12. Переписка с читателями.

ОТДЕЛЫ СОЦСТРОИТЕЛЬСТВА широко иллюстрируются фотоснимками и зарисовками на местах индустриальных и колхозных новостроек.

Развивая творчество установок творческой группы РАПП „Кузница“ в борьбе за поднятие художественной литературы пролетариата на уровень его революционного мировоззрения и социалистической практики, — журнал широко привлекает к своей работе пролетарских писателей, передовые кадры союзнических писателей, а также проводит соревнование среди ударников, призванных в литературу, и рабочей молодежи.

Особое внимание журнал сосредоточивает в 1932 году на ознакомлении читателей с литературой братских республик.

В центры социалистического строительства, в целях широкого его освещения, будут организованы в 1932 году выезды редакционного актива журнала.

Ввиду ограниченности тиража необходимо своевременное внесение подписной платы.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех почтовых конторах и отделениях СССР, в магазинах и киосках КНИГОЦЕНТРА ОГИЗА, всеми его агентами и представителями.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Тверская, 35. Телефон 40-56.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год — 6 р.,
на полгода — 3 р.,
отд. номер — 60 к.

ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ И МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТПИСАТЕЛЕЙ

К Н И Г А
Т Р Е Т Ь Я
М А Р Т

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1932

18 тип. треста „Полиграфкнига“
Москва, Варгунихина гора, 8,
Стат. ф. Б—176 × 250, 9 п. л.
70 400 зн. в п. л. Тираж 18300 экз.
Зак. 463. Сд. в набор 13/III—32 г.
Подписан к печати 19/IV—32 г.
Уполном. Главлита № Б—18082
Техн. редактор А. Ж а р к о в

ТИХИЙ ДОН

Р О М А Н

М И Х. Ш О Л О Х О В

(Продолжение)

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

XL

НАУТРО, проснувшись, Григорий вспомнил разговор с Ермаковым и Медведевым. Он не был ночью уж настолько пьян и без особого напряжения восстановил в памяти разговоры о замене власти. Ему стало ясно, что пьянка в Лиховидовом была организована с заведомой целью: подбить его на переворот. Против Кудинова, открыто выражавшего желание идти к Донцу и соединиться с Донской армией, плелась интрига лево настроенными казаками, втайне мечтавшими об окончательном отделении от Дона и образзании у себя некоего подобия советской власти без коммунистов. Григория же хотели использовать орудием, не понимая всей гибельности распри внутри повстанческого лагеря, когда каждую минуту красный фронт, будучи поколеблен у Донца, мог без труда смести их вместе с их «междуособьем». «Ребачья игра» — мысленно проговорил Григорий и легко вскочил с кровати. Одевшись, он разбудил Ермакова и Медведева, позвал их в горницу, плотно притворил дверь.

— Вот што, братцы: выкиньте из головы вчерашний разговор и не шуршите, а то погано вам будет! Не в том дело, кто командующий! Не в Кудинове дело, а в том, што мы в кольце, мы — как бочка в обручах. И не нынче-завтра обруча нас раздавят. Полки надо двигать не на Вешки, а на Мигулин, на Краснокутскую, — значительно подчеркивал он, не сводя глаз с упрямого, бесстрастного лица Медведева. — Так-то, Кондрат, нечево белым светом мутить! Вы пораскиньте мозгами и поймите: ежели зачнем браковать командование и устраивать

всякие перевороты, — гибель нам. Надо либо к белым, либо к красным прислоняться. В середке нельзя, задавят.

— Разговор, чур, не выносить, — отвернувшись попросил Ермаков.

— Помрет между нами, но с уговором, штоб вы перестали казаков мутить. А Кудинов с его советниками, што же? Полной власти у них нет, как умею я, так и вожу свою дивизию. Плохи они, слов нет, и с кадетами они нас опять сосватают, как пить дать. Но куда же подадимся? Пути нам, все жилушки перерезаны!

— Оно-то так... — туто согласился Медведев и в первый раз за время разговора поднял на Григория крохотные, настоянные злостью, медвежьи глазки.

После этого Григорий еще двое суток под ряд пил по ближним от Кардынской хуторам, пьяным кружалом пуская жизнь. Запахом дымки пропитался даже потник на его седле. Бабы и потерявшие девичий цвет девки шли через руки Григория, деля с ним короткую любовь. Но к утру, пресытившись любовной горячностью очередной утехи, Григорий трезво и равнодушно, как о постороннем, думал: «Жил и все испытал я за отжитое время. Баб и девок перелюбил, на хороших конях, эх!, протоптал степя, отцовством радовался и людей убивал, сам на смерть ходил, на синее небо красовался. Что же новое покажет мне жизнь? Нету нового! Можно и помереть. Не страшно. И в войну можно играть без риска, как богатаму. «Не велик проигрыш!»

Голубым солнечным днем проплывало в несвязных воспоминаниях детство: скворцы в каменных кладках, босые Гришкины ноги в горячей пыли, величаво застывший Дон в

зеленой опуши леса, отраженного водой, ребячьи лица друзей, моложавая статная мать... Григорий закрыл глаза ладонью, и перед мысленным взором его проходили знакомые лица, события, иногда очень мелкие, но почему-то цепко воссоздавшиеся в память, звучали в памяти забытые голоса утерянных людей, обрывки разговоров, разноликий смех. Память направляла луч воспоминаний на давно забытый, когда-то виденный пейзаж, и вдруг ослепительно возникли перед Григорием: степной простор, летний шлях, арба, отец на передке, быки, пашня в золотистой щетине скошенных хлебов, черная россыпь пращей на дороге... Григорий в мыслях, спутанных, как сетная дель, ворошил пережитое, наткнулся в этой ушедшей куда-то в невозвратное жизни на Аксинью, думал: «Любушка! Незабудняя!» и брезгливо отодвигался от спавшей рядом с ним женщины, вздыхал, нетерпеливо ждал рассвета, и едва лишь солнце малиновой росшивью, золотым позументом начинало узорить восток, — вскакивал, умывался, спешил к коню.

ХLI

Степным всепожирающим палом взбушевало восстание. Вокруг непокорных станиц сомкнулось стальное кольцо фронтов. Тень обреченности тавром лежала на людях. Казаки играли в жизнь, как в орлянку, и не малому числу выпадала «решка». Молодые бурно любили, постарше возрастом — пили самогонку до одурения, играли в карты под деньги и патроны (причем патроны ценились дороже, дороже), ездили домой на побывку, чтобы хоть на минутку, приклонив к стене опостылевшую винтовку, взяться руками за топор или рубанок; чтобы сердцем отдохнуть, заплетая пахучим красноталом плетень или готовя борону либо арбу к весенней работе. И многие, откушав мирной живухи, пьяными возвращались в часть и, не протрезвившись, со зла на «жизно-жестянку» шли в пешем строю в атаку, в лоб, на пулеметы, а не то, опалаемые бешенством, люто неслись, не чуя под собой коней, в ночной набег и, захватив пленных, жестоко, с первобытной дикостью глумились над ними, жалея патроны, прикалывая шашками.

А весна в тот год сияла невиданными красками. Прозрачные, как выстекленные,

и погожие стояли в апреле дни. По недоступному голубому разливу небес плыли, плыли, утлывали на север, обгоняя облака, ватаги казарок, станицы медноголосых журавлей. На бледно-зеленом покрове степи возле прудов рассыпанным жемчугом искрились присевшие на попас лебеди. Возле Дона в займищах стон стоял от птичьего гогота и крика. По затопленным лугам на грядинах и рынках незабитой земли перекикивались, готовясь к отлету, гуси, в талых неумолчно шипели охваченные любовным экстазом селезни. На вербах зеленели сережки, липкой духовитой почкой набухал тополь. Несказанным очарованием была полна степь, чуть зазеленевшая, налитая древним запахом оттаявшего чернозема и вечно юным — молодой травы.

Тем была лоба война на восстании, что под боком у каждого бойца был родимый курень. Надоедало ходить в заставы и секреты, надоедало в разъездах мотаться по буграм и перевалам, — казак отпрашивался у сотенного, ехал домой, а взамен себя присылал на служивском коне своего ветхого деда или сына-подростка. Сотни всегда имели полное количество фойцов и всегда текучий состав. Но кое-кто ухитрялся и так: солнце на закате — выезжал с места стоянки сотни, придавливал коня наметом и, отмахав верст тридцать, а то и сорок, на исходе вечерней зари был уже дома. Перебрав ночь с женой или лобушкой, после вторых кочетов седлал коня, и не успевали еще померкнуть стожары, — снова был в сотне.

Многие весельчаки нарадоваться не могли на войну возле родных избней. «И помирать не надо!» — пошуливали казаки, частенько проводывавшие жен.

Командование особенно боялось дезертирства к началу полевых работ. Кудинов специально объезжал части и с несвойственной ему твердостью заявлял:

— Пушай лучше на наших полях ветры пасутся, пушай лучше ни зерна в землю не кинем, а отпущать из частей казаков не приказываю! Самовольно уезжающих будем сечь и расстреливать.

ХLII

И еще в одном бою под Климовкой довелось участвовать Григорию. К полудню около крайних дворов завязалась перестрелка.

Спустя немного в Климовку сошли красноармейские цепи. На левом фланге в черных бушлатах мерно продвигались матросы — экипаж какого-то судна Балтийского флота. Бесстрашной атакой они выбили из хутора две сотни Каргинского повстанческого полка, оттеснили их по балке к Василевскому.

Когда перевес начал склоняться на сторону красноармейских частей, Григорий, наблюдавший за боем с пригорка, махнул перчаткой Прохору Зыкову, стоявшему с его конем возле патронной двуколки, на ходу прыгнул в седло с правой стороны, обскакивая буерак, шибкой рысью направился к спуску в Гусынку. Там — он знал — прикрытая левадами стояла резервная конная сотня 2-го полка. Через сады и плетни он направился к месту стоянки сотни. Увидев издали спешенных казаков и лошадей у коновязи, выхватил шашку, крикнул:

— На конь!

Двести всадников в минуту разобрали лошадей. Командир сотни окакал Григорию навстречу.

— Выступаем?

— Давно бы надо! Зеваешь, твою мать! — сверкнул глазами Григорий. Осадив коня, он спешился и как на зло замешкался, натуго подтягивая подпруги (вспотевший и разгоряченный конь вертелся, не давался затянуть чересподушечную подпругу, дулся хрипел нутром и, зло щеря зубы, пытался с боку накинуть Григория передком). Надежно укрепив седло, Григорий сунул ногу в стремя, не глядя на омущенного сотенного, прислушивавшегося к разрастающейся стрельбе, кинул:

— Сотню поведу я. До выезда из хутора взводными рядами, рысью!

За хутором Григорий рассыпал сотню в лаву, попробовал, легко ли идет из ножен шашка, отделившись от сотни сажень на тридцать, наметом поскакал к Климовке. На гребне буера, южной стороной сползавшего в Климовку, на секунду он попридержал коня, всматриваясь: по хутору скакали и бежали отступающие конные и пешие красноармейцы, вскачь неслись двуколки и брички обоза первого разряда. Григорий полуобернулся к сотне:

— Шашки вон! В атаку! Братцы, за мной! — легко выхватил шашку, первый закричал: «Ура-а-а!» и, испытывая холодок и невесомую легкость во всем теле, пустил коня. В пальцах левой руки дрожали стру-

ной натянутые поводья, поднятый над головой клинок со свистом рассекал встречный ветер.

Огромное клубившееся на вешнем ветру белое облако на минуту закрыло солнце, и, обгоняя Григория, с кажущейся медлительностью по буру поплыла серая тень. Григорий переводил взгляд с приближающихся дворов Климовки на эту скользкую по бурой непросохшей земле тень, на убегающую куда-то вперед светло-желтую, радостную окраску света. Необъяснимое и неосознанное явилось вдруг желание догнать бегущий по земле свет. Придавив коня, Григорий выпустил его во весь мах, наседая, стал приближаться к текучей грани, отделявшей свет от тени. Несколько секунд отчаянной скачки, и вот уже вытянутая голова коня осыпана севом светоносных лучей, и рыжая шерсть вдруг вспыхнула ярким колючим блеском. В момент, когда Григорий перескакивал неприметную кромку тучевой тени, из проулка тую защелкали выстрелы: ветер стремительно нес хлопья звуков, приближая и усиливая их. Еще какой-то неуловимый миг — и Григорий сквозь сыплющийся гул копыт своего коня, сквозь взвились пуль и завывающий в ушах ветер перестал слышать грохот идущей сзади сотни. Из его слуха будто выпал тяжелый, садкий, сотрясающий непросохшую целину скок массы лошадей. Он как бы стал удаляться, замирать. В этот момент встречная стрельба вспыхнула, как костер, в который подбросили сушнику, взвыли стаи пуль. В замешательстве, в страхе Григорий оглянулся: растерянность и гнев судорогами обезобразили его лицо: сотня, повернув коней, бросив его — Григория, — скакала назад. Недалеке командир вертелся на коне, нелепо махал шашкой, плакал и что-то кричал сорванным, осипшим голосом. Только двое казаков приближались к Григорию, да еще Прохор Зыков, на коротком поводу завернув коня, подскакивал к командиру сотни. Остальные в рассыпную скакали назад, кинув в ножны шашки, работая плетями.

Только на единую секунду Григорий укоротил бег коня, пытаясь уяснить, что же произошло сзади, почему сотня, не понесши урону, неожиданно ударилась в бегство. И в этот короткий миг сознание подтолкнуло решение: не поворачивать, не бежать, а вперед! Он видел, что в проулке в ста сажнях от него, за плетнем, возле пулеметной

тачанки суеилось человек семь красноармейцев. Они пытались повернуть тачанку дулом пулемета на атакующих их казаков, но в узком проулке это им, видимо, не удалось: пулемет молчал, и все реже хлопала винтовочные выстрелы, все реже обжигал слух Григория горячий повист пуль. Выправив коня, Григорий целился вскочить в этот проулок через поваленный плетень, некогда отгораживавший леваду. Он оторвал взгляд от плетня и как-то внезапно и четко, будто притянутых биноклем, увидел уже вблизи от себя матросов, суетно выпрягавших лошадей, их черные изляпанные грязью бушлаты, бескозырки, туго натянутые, делавшие лица странно круглыми. Двое рубили построшки, третий, вобрав голову в плечи, возился у тела пулемета, остальные стоя и с колен били в Григория из винтовок. Доскакывая, он видел, как руки их шумурыгали затворы винтовок и слышал резкие в упор выстрелы. Они так быстро чередовались, так скоро приклады взлетывали и прижимались к плечам, что Григория, всего мокрого от пота, опалила радостная уверенность: «Не попадут!»

Плетень хрястнул под копытами коня, остался сзади. Григорий заносил шашку, сузившимися глазами выбирая переднего матроса. Еще одна вспышка страха жиганула молнией: «Вдарют в упор... Конь! — вдыбки... запрокинется... убьют!...» Уже в упор два выстрела, словно издавека крик: «живьем возьмем!» Впереди — оскал на мужественном гололобом лице, взвихренные ленточки бескозырки, тусклое золото выцветшей надписи на околыше... Упор в стремяна, взмах — и Григорий ощущает, как шашка вязко идет в мякко податливое тело матроса. Второй — толстошей и дюжий — успел прострелить Григорию мякоть левого плеча и тотчас же упал под шашкой Прохора Зыкова, с разрубленной наискось головой. Григорий повернулся на близкий целк затвора: прямо в лицо ему смотрел из-за тачанки черный глазок винтовочного дула. С силой швырнув себя влево, так, что двинулось седло и качнулся хрипевший обезумевший конь, уклонился от смерти, взвизгнувшей над головой, и в момент, когда конь прыгнул через дышло тачанки, зарубил, стрелявшего, рука которого так и не успела дослать затвором второй патрон.

В непостижимо короткий миг (после в сознании Григория он воплотился в длин-

нейший промежуток времени) он зарубил четырех матросов и, не слыша криков Прохора Зыкова, поскакал было в догон за пятым, скрывшимся за поворотом проулка, но наперед ему заскакал подоспевший командир сотни, схватил Григорьева коня под уздцы:

— Куда?!.. Убьют!.. Там, за сараями, у них другой пулемет!

Еще двое казаков и Прохор, спешившись, подбежали к Григорию, силой стащили его с коня. Он забился у них в руках, крикнул: — Пустите, гады!.. Матросню... Всех!.. Ррруб-ло!...

— Григорий Пантелеевич! Товарищ Мелехов! Да опомнитесь вы! — уговаривал его Прохор.

— Пустите, братцы! — уже другим, упавшим голосом попросил Григорий. Его отпустили. Командир сотни шопотом сказал Прохору:

— Сажай его на коня и поняй в Гусынку, он, видать, заболел.

А сам было пошел к коню, скомандовал сотне — «Садитесь!», но Григорий кинул на снег папаху, постоял раскачиваясь, и вдруг скрипнул зубами, страшно застонал и с искаженным лицом стал рвать на себе застежки шинели. Не успел сотенный и шага сделать к нему, как Григорий — как стоял, так и рухнул ничком, оголенной прудью на снег. Рыдая, сотрясаясь от рыданий, он, как собака, стал хватать ртом снег, уцелевший под плетнем. Потом, в какую-то минуту чудовищного просветления, попытался встать, но не смог и, повернувшись мокрым от слез, изуродованным болью лицом к столпившимся вокруг него казакам, крикнул надорванным, дико пронзчивым голосом: — Кого же?!.. Кровных рубил!.. Своих! — и впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах:

— Своих!.. Братцы, нет мне прощенья!.. Убейте!.. Зарубите, ради бога... в бога мать!.. Смерти... предайте!..

Сотенный подбежал к Григорию, совместно с взводным навалились на него, оборвали на нем ремень шашки и полевую сумку, зажали рот, придавили ноги. Но он долго еще выгибался под ними дугой, рыл судорожно выпрямляющимися ногами зернистый снег и, стоная, бился головой о взрытую копытами, тучную, зияющую черноземом землю, на которой родился и жил, полной мерой взяв

из жизни — богатой горестями и бедной радостями — все, что было ему уготовано.

Лишь трава растет на земле, безучастно приемля солнце и непогоду, питаясь земными жизнетворящими соками, покорно клонясь под гибельным дыханием бурь. А потом, кинув по ветру семя, столь же безучастно умирает, шелестом отживших былиннок своих приветствуя осеннее солнце, лучшее смерть...

XLIII

На другой день Григорий, передав командование дивизией одному из своих полковых командиров, в сопровождении Прохора Зыкова поехал в Вешенскую.

За Каргинской, в Рогожкинском пруду, лежащем в глубокой котловине, густо плавали присевшие на отдых казарки. Прохор указал по направлению пруда плетью, усмехнулся:

— Вот бы, Григорь Пантелевич, подвалить дикова гусака. То-то вокруг него мы ба самогону выпили!..

— Давай подедем поближе, я попробую из 'винтовки. Когда-то я неплохо стрелял.

Они спустились в котловину. За выступом бутра Прохор стал с лошадьми, а Григорий снял шинель, поставил винтовку на предохранитель и пополз по мелкому ярку, щетинившемуся прошлогодним серым бурьяном. Полз он долго, почти не поднимая головы; полз, как в разведке, к вражескому секрету, как тогда, на германском фронте, когда около Стохода снял немецкого часового. Его вылинявшая защитная гимнастерка сливалась с зеленовато-бурой окраской почвы, ярк прикрывал от зорких глаз сторожевого гусака, стоявшего на одной ноге возле воды, на коричневом бугорке вешнего напльва. Подполз Григорий на ближний выстрел, чуть приподнялся: сторожевой гусак поворачивал свою серую, как камень, змеино-го склада голову, настороженно оглядывался; за ним иссера-черной пеленой вросьсь сидели на воде гуси, вперемежку с кряквами и головатыми нырками. Тихий поггот, кряканье, всплески воды доносило от пруда. «Можно с постоянного прицела», — подумал Григорий, с бьющимся сердцем прижимая к плечу приклад винтовки, беря на мушку сторожевого гусака.

После выстрела Григорий вскочил на ноги, оглушенный хлопаньем крыл, кагаканьем

гусиной станицы. Тот гусь, в которого он стрелял, суетно набирал высоту, остальные летели над прудом, клубясь густою кучей. Оторченный Григорий прямо по взвившейся гусиной станице ударил еще два раза, проследил взглядом, не падает ли какой, — и пошел к Прохору.

— Гляди! Гляди!.. — закричал тот, вскочив на седло, стоя на нем во весь рост, указывая плетью по направлению удаляющейся в голубеющем просторе гусиной станицы.

Григорий повернулся и дрогнул от радости, от охотничьего волнения: один гусь отделившись от уже построившейся гусиной станицы, резко шел на снижение, замедленно и с переборами работал крыльями. Поднимаясь на цыпочки, приложив ладонь к глазам, Григорий следил за ним взглядом. Гусь летел в сторону от встревоженно вскричавшей стаи, медленно снижаясь, слабее в полете и вдруг с большой высоты камнем ринулся вниз, только белый подбой крыла ослепительно сверкнул на солнце.

— Садись!.. — Прохор, с улыбкой во весь рот, подскакал и кинул повод Григорию. Они наметом выскочили на бутор, пробежали рысью сажен восемьдесят.

— Вот он!

Гусь лежал, вытянув шею, распластав крылья, словно обнимал напоследок эту неласковую землю. Григорий, не сходя с коня нагнулся, взял добычу.

— Куда же она его кусанула? — любопытствовал Прохор.

Оказалось, пуля насквозь пробила гусю нижнюю часть клюва, вывернула возле глаза кость. Смерть уже в полете настигла и вырвала его из построенной треугольной стаи, кинула на землю.

Прохор приторочил гуся к седлу, поехали.

Через Дон переправились на баркасах, оставив коней на Базках.

В Вешенской Григорий юстановился на квартире у знакомого старика, приказал тотчас же жарить гуся, а сам, не являясь в штаб, послал Прохора за самогоном. Пили до вечера. В разговоре хозяин обмолвился жалобой:

— Дюже уж, Григорий Пантелеич, засьилье у нас в Вешках начальство забрало...

— Какое начальство?

— Самородное начальство... Кудинов, да и другие.

— А што?

— Иногородних все жмут. Кто с красными ушел, так из ихних семей баб сажают, девчатишек, стариков. Сваху мою за сына посадили. А это вообще ни к чему! Ну, хуч бы вы, к примеру, ушли с кадетами за Донец, а красные бы вашего папашу, Пантелея Прокофича, в кутузку взагнули, ить это же неправильно было бы?

— Конешню!

— А вот тутошные власти сажают. Красные шли, никово не обижали, а эти особачились, остервильсь, ну удержу им нету!

Григорий встал, чуть качнулся, потянувшись к висевшей на кровати шинели. Он был лишь слепка пьян.

— Прохор! Шашку! Маузер!

— Вы куда, Григорь Пантелевич?

— Не твое дело! Давай, што сказал.

Григорий нацепил шашку, маузер, застегнул и подпоясал шинель, направился прямо на площадь, к тюрьме. Часовой из нестроевых казаков, стоявший у входа, было преградил ему дорогу.

— Пропуск есть?

— Пусти. Отклонись, говорят!

— Без пропуска не могу никово впускать. Не приказано.

Григорий не успел и до половины обнажить шашку, как часовой юркнул в дверь. Следом за ним, не ссылая руки с эфеса, вошел в коридор Григорий.

— Дать мне сюда начальника тюрьмы! — закричал он.

Лицо его побелело, горбатый нос хищно погнулся, бровь избочилась... Прибежал какой-то хроменький казачишка, исправлявший должность надзирателя, выглянул мальчонка-писарь из канцелярии. Вскоре появился и начальник тюрьмы, заспанный, сердитый.

— Без пропуска, за это знаешь?... — загремел он, но, угадав Григория и всмотревшись в его лицо, испуганно залопотал:

— Это вы ваше... товарищ Мелехов? В чем тут дело?

— Ключи от камер!

— От камер?

— Я тебе што, по сорок раз буду повторять? Ну? Давай ключи, собачий клеп!... — Григорий шагнул к начальнику, тот попятился, но сказал довольно таки твердо:

— Ключей не дам. Не имеете права!

— Пра-а-ва-а?... — Григорий заскрипел зубами, выхватил шашку. В руке его она с визгом описала над низким потолком ко-

ридора сияющий круг, писарь и надзиратели разлетелись, как вспуганные воробьи, а начальник прижался к стене, сам белее стены, сквозь зубы процедил:

— Учиняйте! Вот они, ключи... А я буду жаловаться.

— Я тебе учиню! Вы тут по тылам привыкли!... Храбрые тут, баб и дедов сажать!.. Я вас всех тут перетрясу! Езжай на позиции, гад, а то зараз срублю! — Григорий кинул шашку в ножны, кулаком ударил по шее перепуганного начальника, коленом и кулаками толкая его к выходу, орал:

— На фронт!.. Сту-пай!.. Сту-пай!.. Такую вашу... Тыловая вша!..

Вытолкав начальника и услышав шум на внутреннем дворе тюрьмы, он побежал туда. Около входа на кухню стояло трое надзирателей, один дергал приржавевший затвор японской винтовки, горячей скороговоркой выкрикивал:

— ...Нападение иделал!.. Отражать надо!.. В старом уставе как?

Григорий выхватил маузер, и надзиратели наперегонки покатались по дорожкам в кухню.

— Вы-хо-ди-и-и!.. По домам!.. — зычно кричал Григорий, распахивая двери густо набитых камер, потрясая связкой ключей. Он выпустил всех (около ста человек) арестованных. Тех, которые из боязни отказались выйти, силой вытолкал на улицу, запер пустые камеры.

Около входа в тюрьму стал скопляться народ. Из дверей на площадь валяли арестованные, озираясь, согнувшись, шли по домам. Из штаба, придерживая шашки, бежали к тюрьме казаки караульного взвода, спотыкаясь, шел сам Кудинов.

Григорий покинул опустевшую тюрьму последним. Проходя через раздавшуюся толпу, матерно обругал жадных до новостей шушукających баб и, сутулясь, медленно пошел навстречу Кудинову. Подбежавшим казакам караульного взвода, угадавшим и приветствовавшим его, крикнул:

— Ступайте в помещение, жеребцы! Ну, чево вы бежите, запалились? Марш!

— Мы думали в тюрьме бунтуются, товарищ Мелехов!

— Писаренок прибег, говорит: «Налетел какой-то черный, замки сбивает!»

— Лживая тревога оказалась!

Казаки, посмеиваясь и переговариваясь, повернули обратно. Кудинов торопливо под-

ходил к Григорию, на ходу поправляя длинные выбиавшиеся из-под фуражки волосы.

— Здравствуй, Мелехов! В чем дело?

— Здорово, Кудинов. Тюрьму вашу раз-прошил.

— На каком основании? Што такое?

— Выпустил всех и все. Ну, чево глаза вытупил? Вы тут на каких основаниях иногородних баб да стариков сажаете? Это што ишо такое? Ты гляди у меня, Кудинов!

— Самовольничать не смей! Это са-мо-прав-ство!

— Я тебя, в проб твою, посамовольничачю! Я вот вызову зараз свой полк из-под Каргинской, так аж чорт вас тут возьмет!

Григорий вдруг схватил Кудинова за сыромятный кавказский пояс, шатая, раскачивая, с холодным бешенством зашептал:

— Хочешь, зараз же открою фронт? Хочешь, зараз вон из тебя душу выпущу? Ух, ты!..— Григорий скрипнул зубами, отпустил тихо улыбавшегося Кудинова.

— Чему скалишься?

Кудинов поправил пояс, взял Григория под руку:

— Пойдем ко мне. И чево ты вскипятился? Ты бы на себя сейчас глядел: на чорта похож... Мы, брат, по тебе тут соскучились. А што касается тюрьмы, это чепуха... Ну, выпустил, какая же беда?.. Я скажу ребятам штобы они действительно приутихли. А то волокут всех бабенок иногородних, у каких мужья в красных... Но зачем вот ты наш авторитет подрываешь? Ах, Григорий! До чево ты взгальный! Приехал бы, сказал бы: «Так и так, мол, надо тюрьму разпружить, выпустить таких-то и таких-то». Мы бы по спискам рассмотрели и кое-кого выпустили. А ты — всех гамузом! Да ведь это хорошо, што у нас важные преступники отдельно сидят, а если б ты и их выпустил? Горячка, ты! — Кудинов похлопал Григория по плечу, засмеялся: — А ведь ты, вот при таком случае, поперек скажи тебе, — и убьешь... Или чево доброва казаков взбунтуешь...

Григорий выдернул свою руку из руки Кудинова, остановился около штабного дома.

— Вы тут все храбрые стали, за нашими спинами! Полну тюрьму понасажали людей... Ты бы свои способности там показал, на позициях!

— Я их, Гриша, в свое время не хуже те-

бя показывал. Да и сейчас: садись ты на мое место, а я твою дивизию возьму...

— Нет уж, спасибочко!

— То-то и оно!

— Ну, мне с тобой джоже долго не об чем гуторить. Я зараз еду домой, отдыхнуть недельку. Я захворал што-то... А тут плечо мне прошки поранили.

— Чем захворал?

— Тоской, — криво улыбнулся Григорий. — Сердце пришло в смятению...

— Нет, не шутя, што у тебя? У нас есть такой доктор, што, может, даже и профессор. Пленный, захватили ево наши за Шумилинской, с матросами ездил. Важный такой, в черных очках. Может, он поглядел бы тебя?

— Ну ево к чорту!

— Так што же, поезжай, отдохни. Дивизию кому сдал?

— Рябчикову.

— Да ты погоди, куда ты спешешь? Расскажи, какие там дела? Ты, говорят, рубанул-таки? Мне вчера ночью передавал кто-то, будто ты матросов под Климовкой нарубил несть числа, верно?

— Прощай. — Григорий пошел, но, отойдя несколько шагов, стал в полоборота, окликнул Кудинова: — Эй! Ежели поимею слух, што опять сажаете...

— Да нет, нет! Пожалуйста, не беспокойся! Отдыхай!

День уходил на запад, вослед солнцу. С Дона, с разлива потянуло холодом. Со свистом пронеслась над головой Григория стая чирков. Он уже входил во двор, когда сверху, вниз по Дону, откуда-то с казанского юрта по воде доплыла октава орудейного залпа.

Прохор быстренько заседлал коней, ведя их в поводу, спросил:

— Во своясы дунем? В Татарский?

Григорий молча принял повод, молча кивнул головой.

XLIV

В Татарском было пусто и скучно. без казаков. Пешая сотня татарцев на время была придана одному из полков 5-й дивизии, переброшена на левую сторону Дона.

Одно время красные части, пополненные подкреплениями, подошедшими из Балашова и Поворина, повели интенсивное наступление с северо-востока, заняли ряд хуторов

Еланской станицы и подошли к самой станице Еланской. В ожесточенном бою, завязавшемся на подступах к станице, верх одержали повстанцы. И одержали потому, что на помощь Еланскому и Букановскому полкам, отступавшим под напором Московского красноармейского полка и двух эскадронов кавалерии, были кинуты сильные подкрепления. Левою стороною Дона из Вешенской подошли к Еланской 4-й повстанческий полк 1-й дивизии (в составе его и сотня татарцев), трехорудийная батарея и две резервных конных сотни. Помимо этого по правобережью были стянуты значительные подкрепления к хуторам Плешакову и Матвеевскому, расположенным от станицы Еланской — через Дон — в трех-пяти верстах. На Кривском бугре был установлен орудийный взвод. Один из наводчиков, казак с хутора Кривской, славившийся беспощадной стрельбой, с первого же выстрела разбил красноармейское пулеметное гнездо и несколькими очередями шрапнели, покрывшей залегшую в краснотале красноармейскую цепь, поднял ее на ноги. Бой кончился в пользу повстанцев. Наседая на отступавшие красные части, повстанцы вытеснили их за речку Еланку, выпустили в преследование одиннадцать сотен конницы, и та на бугре, неподалеку от хутора Затоловского, настигла и вырубил целikom эскадрон красноармейцев.

С той поры татарские «пластуны» мотались где-то по левобережью, по песчаным бурунам. Из сотни почти не приходили в отпуск казаки. Лишь на пасху, как поговору, сразу явилась в хутор почти половина сотни. Казаки пожили в хуторе день, разговелись и, переменяв беляшко, набрав из дома сала, сухарей и прочей снеди, переправились на ту сторону Дона, толпой, как богомольцы (только с винтовками, вместо посохов), потянули в направлении Еланской. С бугра в Татарском, с обдонской горы провожали их взглядами жены, матери, сеструшки. Бабы на горе ревели, вытирали заплаканные глаза кончиками головных платков и шалек, сморкались в подолы исподних юбок... А на той стороне Дона, за лесом, затопленным полой водой, по песчаным бурунам шли казаки: Христоня, Аникушка, Пантелей Прокофьевич, Степан Астахов и другие. На привинченных штыках винтовок болтались холщевые сумочки с харчами, по ветру веялись грустные, как запах чеборца,

степные песни, вялый тянулся промеж казаков разговор... Шли они невеселые, но зато сытые, обстиранные. Перед праздником жены и матери нагрели им воды, обмыли приросшую к телу пряжь, вычесали лютых на кровь служивских вшей. Чем бы не жить дома, не кохаться? А вот! надо обманутым кулачем и офицерством казакам итти встречу смерти... И идут. Молодые, лет по шестнадцати-семнадцати парнишки, только что призванные в повстанческие ряды, шагают по теплему песку, скинув сапоги и чирячечки; им неведомо отчего радостно, промеж них и веселый разговорик вспыхнет, и песню затянут ломающимися, несозревшими готсами. Им война — в новинку, вроде ребячьей игры. Они в первые дни и к посвисту пуль прислушиваются, подымая голову от сырого бугорка земли, прикрывающего окопчик. «Куга зеленая!» — пренебрежительно зовут их фронтовые казаки, обучая на практике: как рыть окопы, как стрелять, как носить на походе служивское имущество, как выбрать прикрытие получше; и даже мастерству выпаривать на огне вшей и оборачивать ноги портянками так, чтобы нога устала не слышала и «гуляла» в обувке, учат несмысленный молодняк. И до тех пор «куженок» смотрит на окружающий его мир войны изумленным, птичьим взглядом, до тех пор подымает голову и высматривает из окопчика, спорая от любопытства, пытаясь рассмотреть «красных», пока не щелкнет его красноармейская пуля. Ежели — на смерть, вытянется такой шестнадцатилетний «воин» и ни за что не дашь ему его коротеньких шестнадцати лет; лежит этакое большое дитя с мальчишески крупными руками, с оттопыренными ушами и зачатком калдыка на тонкой, невозмужалой шее. Отвезут его на родной хутор схоронить на могилах, где его деды и прадеды истлели, встретит его мать, всплеснув руками и долго будет голосить «по мертвому», рвать из седой головы космы волос. А потом, когда похоронят и засохнет глина на могилке, станет состарившаяся, тригнутая к земле материнским неусыпным горем ходить в церковь, поминать своего «любимого Ванюшку» либо «Семущку».

Доведется же так, что не до смерти кусает пуля какого-нибудь Ванюшку или Семущку, то тут только познает он нещадную суровость войны. Дрогнут у него обметанные темным пухом губы, покривятся... Крик-

нет «воин» заячьим, похожим на детский, криком: «Родимая моя мамуношка!» — и drobные слезы сыпанут у него из глаз. Будет его санитарная бричка потряхивать на бездорожных ухабах, вередить рану; будет бьвалый сотенный фельдшер промывать пулевой или осколочный надрез и, посмеиваясь, утешать, как дитятю: «У кошки боли, у ороки боли, а у Ванюшки зажииви», а «воин» Ванюшка будет плакать, проситься домой, кликать мать. Но ежели заживет рана, и снова попадет он в сотню, то уж тут-то научится окончательно понимать войну. Неделю, две пробудет в строю, в боях и стычках, зачерствеет сердцем, а потом, смотри еще, как-нибудь будет стоять перед пленным красноармейцем и, отставив ногу, сплевывая на сторону, подражая какому-нибудь зверюге-вахмистру, станет цедить сквозь зубы — спрашивать ломающимся баском:

— Ну, што, мужик, в кровину твою мать, попался? Га-а-а! Земли захотел? Равенства? Ты ить, небось, каммуняка? Признавайся, гад! — и, желая показать молодечество, «казацкую лихость», подымет винтовку, убьет того, кто жил и смерть принял на Донской земле, воюя за советскую власть, за коммунизм, за освобождение от пнета трудящихся, за то, чтобы никогда больше на земле не было войны.

И где-либо в Московской или Вятской губернии, в каком-нибудь затерянном селе великой Советской России мать красноармейца, получив известие о том, что «ваш сын, красноармеец н-ского полка, погиб в борьбе с белогвардейщиной за освобождение трудового народа от ига помещиков и капиталистов»... Запричитает, заплачет... Горючей тоской оденется материнское сердце, слезами изойдут тусклые глаза и ежедневно, всегда, до смерти будет вспоминать того, которого некогда носила в утробе, родила в крови и бабьих муках, который пал от вражьей руки где-то в безвестной Донщине, защищая трудовой народ...

Шла полусотня дезертировавшей с фронта татарской пехоты. Шла по песчаным разливам бурунов, по сиявшему малиновому красноталу. Молодые — весело, бездумно, старики — в насмешку прозванные «гайдамаками» — со вздохами, с потаенно укрытой слезой; заходило время пахать, воло-

чить, сеять; земля кликала к себе, звала неустанно день и ночь, а тут надо было воевать, гибнуть на чужих хуторах от вынужденного безделья, страха, нужды и скуки. Через это и кипела слеза у бородачей, через это самое и шли они хмурые. Всяк вспоминал свое кинутое хозяйство, худобу, инвентарь. Ко всему требовались мужские руки, все плакало без хозяйского глаза. А с баб какой же спрос? Высохнет земля, не управятся с посевом, голодом пугнет следующий год. Ведь недаром же говорится в народной поговорке, что «в хозяйстве и старичишка слодится дожей, чем молодлица».

По пескам шли старики молча. Оживились, толком когда один из молодых выстрелил по зайцу. За истраченный попустому патрон (что строго воспрещалось приказом командующего повстанческими силами) решили старики виновного наказать. Сорвали на парнишке зло, выпороли.

— Сорок розгов ему! — предложил было Пантелей Прокофьевич.

— Дюже много!

— Он не дойдет тогда!

— Шеш-над-цать! — рывкнул Христоня.

Согласились на шестнадцать — на четном числе. Провинившегося положили на песок, спустили штаны. Христоня перочинным ножом резал хворостины, покрытые желтыми пушистыми китушками, мурлыкал песню, а Аникушка порол. Юстальные сидели околю, курили. Потом снова пошли. Сзади всех плелся наказанный, вытирая слезы, натуго затягивая штаны.

Как только миновали пески и выбрались на серосупенные земли, начались мирные разговоры:

— Вон она, земляца-любубшка, хозяйина ждет, а ему некогда, черти ево по бупрам мыкают, воюет — вздохнул один из дедов, указывая на сохнувшую делянку зяби.

Шли мимо пахоти, и каждый нагибался, брал сухой пахнувший вешним солнцем комочек земли, растирал его в ладонях, давил вздох.

— Подспела земля!

— Самое зараз бы с букарем.

— Тут перепусти трое суток, и сеять нельзи будет.

— У нас-то на энтой стороне трошки рано.

— Ну да, рано! Гля-кось — вон над ярами по обдону ишо снег лежит.

Потом стали на привал, пополудновали. Пантелей Прокофьевич угощал высеченного парнишку откидным, «портошным» молоком (нес он его в сумке, привязанной к винтовочному дулу, и всю дорогу цедилась стекавшая из сумки вода. Аникушка уже смеялся ему: «Тебя, Прокофич, по следу можно свесть, за тобой мокрая вилюга, как за быком, остается»); угощал и степенно говорил:

— А ты на стариков не обижайся, дурастнй. Ну, и выпороли, какая же беда? За битова двух небитых дают.

— Тебе бы так вложили, дед Пантелей, небось, другим бы голосом воспел!

— Мне, парень, и похуже влаживали.

— Похуже!

— Ну да, похуже. Яственное дело,— в старину не так бывали.

— Бывали!

— Конечно, бывали. Меня, парнишша, отец раз оглоблей вдарил по спине — и то входил.

— Оглоблей!

— Говорю — оглоблей, стало быть — оглоблей. Э, долдон! Молоко-то ешь, чево ты мне в рот глядишь? Ложка у нево без черенка, сломал, небось? Халява! Мало тебя, сукинова сына, ноне пороли!..

После полуднования решили подремать ча лепком и пьянящем, как вино, вешнем воздухе. Легли, подставив солнцу спины, похрапели малость, а потом опять потянули по бурой степи, по прошлогодним жнивьям, минуя дороги напрямки. Шли одетые в сюртуки, шинели, зипуны и дубленые полушубки; обутые в сапоги, в чиррики, с шароварами, вобратыми в белые чулки, и ни во что не обутые. На штыках болтались харчевые сумки...

Столь не воинственен был вид возвращавшихся в сотню дезертиров, что даже жаворонки, отзвенев в голубом разливе небес, падали в траву околю проходившей полусотни.

Григорий Мелехов не застал в хуторе никого из казаков. Утром он посадил верхом на коня своего подростшего Мишутку, приказал с'ехать к Дону и напоить, а сам пошел с Натальей проведать деда Гришаку и тещу. Лукинична встретила заты со слезами.

— Гришенька, сыночек! Пропадаем мы

без нашево Мирона Лукича, царство ему небесное... Ну, кто у нас будет на полях работать? Зерна полны амбары, а сеять некому. И головушка ты моя горькая! Остались мы сиротами, никому-то мы не нужны, всем-то мы чужие, лишние!.. Ты глянь-кось, как хозяйство наше рухнулось. Ни к чему руки не доходят...

А хозяйство и в самом деле стремительно шло к упадку: быки били и валяли плетни на базах, кое-где упали сохи, лодмытая вешней водой обрушилась саманная стена в сарае, гумно было разгорожено, двор не расчищен, под навесом сарая стояла заржавевшая лоботрейка, и тут же валялся сломанный косогон... Всюду виднелись следы запустения и разрухи.

«Скоро все покачнулось без хозяина», — равнодушно подумал Григорий, обходя коршуновское подворье.

Он вернулся в курень. Наталья что-то шопотом говорила матери, но при виде Григория умолкла, заискивающе улынулась:

— Маманя вот просит, Гриша... Ты же, кубыть, собирался ехать на поля... Может, и им какую десятинку бы посеял?

— Да на што вам сеять, мамаша? — спросил Григорий. — Ить у вас же пшеницы полны закрома.

Лукинична так и всплеснула руками:

— Гришенька! А земля-то как же? Ить покойничек наш зяби напахал три круга.

— А чево же ей поделается, земле? Перележится, што ли? На энтот год, живы будем, посеем.

— Как можно! Земля вхолостую пролежит.

— Фронты отклонются, тогда и сеять будете, — пробовал уговорить тещу Григорий.

Но та уперлась на своем, даже будто бы обиделась на Григория и под конец в оброчку собрала дрогнувшие губы:

— Ну, уж ежели тебе некогда, может, али охоты нету нам подсобить...

— Да ладно уж! Поеду завтра себе сеять и вам обсемено десятины две. С вас и это ва хватит. А дед Гришака живой?

— То-то спасибо, кормилец! — обрадовалась просиявшая Лукинична. — Семена — скажу ноне Грипашке — штоб отвезла. Дед-то? Все никак ево господь не приберет. Живой, а кубыть трошки умом начал мешаться. Так и сидит дни — ночи напролет

святое писание читает. Иной раз загутарит-загутарит, да так все непонятно, церковным языком... Ты бы пошел ево проведать. Он в горенке.

По полной щеке Натальи сползла слезинка. Улыбаясь сквозь слезы, сказала:

— Зараз взошла я к нему, а он говорит: «Дщерь лукавая! Што же ты меня не проведываешь? Скоро помру я, милушка... За тебя, за внученьку, как представлось, богу слово замолвлю. В землю хочу, Натальюшка... Земля меня к себе кличет. Пора!»

Григорий вошел в горенку. Запах ладона, плесени и гнили, запах старого неопрятного человека густо ударил ему в ноздри. Дед Гришака все в том же армейском сером мундирчике, с красными петлицами на отворотах, сидел на лежанке. Широкие шаровары его были аккуратно залатаны, шерстяные чулки заштопаны. Попечение о деде перешло на руки подроставшей Грипашки, и та стала следить за ним с такой же внимательностью и любовью, как некогда ходившая в девках Наталья.

Дед Гришака держал на коленях библию. Из-под очков в позеленевшей медной оправе он глянул на Григория, открыл в улыбке белозубый рот:

— Служивый? Целенький? Оборонил господь от лихой пули? Ну, слава богу! Садись.

— Ты-то как здоровьем, дедушка?

— Ась?

— Как здоровье, говорю.

— Чудак! Пра слово, чудак. Какое в моих годах может быть здоровье? Мне ить уж под сто пошло. Да, под сто... Прожил, не видал... Кубять вчера ходил я с русым чубом, молодой да здоровый... А ноне проснулся—и вот она, одна ветхость... Мелькнула жизнь, как легкий всполох и нету ее... Немощен плотью стал... Домовина уж какой год в анбаре стоит, а господь, видно, забыл про меня. Я уж иной раз, грешник, и взмолюсь ему: «Обороти, господи, милостливый взор на раба твоего Григория! И я земле в тягость, и она мне»...

— Ишо поживешь, дед. Зубов вон полон рот.

— Ась?

— Зубов ишо много!

— Зубов-та? Эка дурак! — осердился дед Гришака. — Зубами-то, небось, душу не удержишь, как она соберется тело покидать... Ты-то все воюешь, непутевый?

— Воюю.

— Митюшка наш в отступе тоже, гляди, лиха хватит, как горячеча,— до слез.

— Хватит.

— Вот и я говорю. А через чево воюете? Сами не разумеете! По божьему указанию все вершится. Мирон наш через чево смерть принял? Через то, што супротив бога шел, народ бунтовал супротив власти. А всякая власть — от бога. Хочь она и анчихристова, а все одно богом данная. Я ему ишо тогда говорил: «Мирон! ты казаков не бунтуй, не подговаривай супротив власти, не пихай на грех!» А он мне: «Нет, батя, не потерплю! Надо восставать, эту ю власть изничтожить, она нас по миру пушает. Жили людьми, а иделаемся старцами». Вот и не потерпел: поднявший меч бранный от меча да погибнет. Истинно. Люди брешут, будто ты, Гришка, в генеральском чине ходишь, дивизией командуешь, верно ай нет?

— Верно.

— Командуешь?

— Ну... Командую.

— А еполеты твои где?

— Мы их отменили.

— Эх, чумовые! Отменили! Да ишо какой из тебя генерал-то? Горе! Раньше были генералы, на нево ажник радостно глядеть: сытые, пузатые, важные, а то ты зараз... Так, тьфу и больше ничево! Шинёлка одна на тебе мазаная, в прызе, ни височей еполеты нету, ни белых шнуров на грудях, одних вшей, небось, полны швы.

Григорий захохотал. Но дед Гришака с горячностью продолжал:

— Ты не смейся, поганец! Людей на смерть водишь, супротив власти поднял. Грех великий примаешь, и зубы тут нечево скалить! Ась? Ну, вот то-то и оно. Все одно вас изничтожат, а заодно и нас. Бог, он вам свою стезю укажет. Это не про наши смутные времена библия гласит? А, ну, слухай, зараз прочту тебе от Еремии пророка оказание.

Старик желтым пальцем перелистал желтые страницы библии, замедленно, отделяя слог от слога, стал читать:

— «Возвестите во языцех, и слышано сотворите, воздвигните знамение, возогийте и не скрывайте, рыцте: пленен бысть Вавилон, посрамися Вил, победися Меродах, посрамишеса изваяния его, сокрушишася кумиры их. Яко прииде нань язык от севера, той положит землю его в запустение и

не будет живяй в ней от человека даже и до скота: подвигнушася отидоша». Уразумел, Гришака? С севера придут и вязы вам, вавилонщикам, поворачивают. И дале слухай: «В тыя дни, и в то время, глаголет господь, приидут сынове израилевы тии, и сынове иудины, вкупе ходяще и плачуще, пойдут и господа бога своего възшут. Овцы погибшие быша людие мои, пастыри их совъратиша, их и сотвориша, сокрытися по горам: с горы на холм ходиша».

— Это к чему же? Как понять? — спросил Григорий, плохо понимавший славянский язык.

— К тому, поганец, што бегать вам, смутителям, по горам. Затем, што вы не пастыри казакам, а сами хуже бестолочи — баранов, не разумеете, што творите. Слухай дале: «Забыша ложа своего, вси обрегающия их снедаду их». И это в точку! Выш вас не пложет зараз?

— От вши спасенья нету, — признался Григорий.

— Вот оно и подходит в точку. Далее: «И врази их рекоша: не пощадим их, зане согрешиша господу. Отыдите от среды Вавилона и от земли Халдейски, изыдите и будите яко козлища пред овцами. Яко се аз въздвигну и приведу на Вавилон собрания языков великих от земли полунощныя, и ополчатся нань: оттуда пленен будет, яко же стрела мужа сильна, искусна, не возвратится праздна. И будет земля Халдейска в разграбление, вси грабителю ея наполнятся, глаголет господь. Зане веселитесь и велеречиваете, расхищающие наследие мое»...

— Дед Григорий! Ты бы мне русским языком переказал, а то мне непонятно, — перебил Григорий.

Но старик пожевал губами, поглядел на него отсутствующим взглядом, сказал:

— Зараз кончу, слухай: «...Скакаете бо яко тельцы на траве, и бодосте яко же волю. Поругана бысть мати ваша зело, и посрамися родившая вас: се последняя во языцех пуста, а непроходна, и суха. От гнева господня не поживут во век: но будет весь в запустение, и всяк ходяй сквозе Вавилон подивится, и позвиждет над всякою язвою его».

— Как же это понять? — снова спросил Григорий, ощущая легкую досаду.

Дед Гришака не отвечал, закрыл библию и прилег на лежанку. «И вот сроду люди так, — думал Григорий, выходя из горен-

ки, — смолоду бесюся, водку жрут и к другим трехам прикладываються, а под старость, што ни лютей смолоду был, то больше начинает за бога хорониться. Вот хочь бы и дед Гришака: зубы, как у волка, говорят, молодым — как пришел со службы — все бабы в хуторе от него плакали, и летучие, и катучие — все были ево, а зараз... Ну, уж ежели мне доведется до старости дожить, я эту хреновину не буду читать! Я до библиев не охотник».

Григорий возвращался от тещи, думая о разговоре с дедом Гришакой, о таинственных, непонятных «речениях» библии. Наталья тоже шла молча. В этот приезд она встретила мужа с необычайной суровостью, видно, слух о том, как гулял и пугался с бабами Григорий по хуторам Каргинской станицы, дошел и до нее. Вечером в день его приезда она постелила ему в горнице на кровати, а сама легла на сундуке, прикрывшись шубой. Но ни единого слова в упрек не сказала, ни о чем не спрашивала. Ночь промолчал и Григорий, решив, что лучше пока не допытываться у нее о причинах столь небывалого в их взаимоотношениях холода...

Они шли молча по безлюдной улице, чужие друг другу больше, чем когда бы то ни было. С юга дул теплый, ласковый ветер, на западе кучились густые, по-весеннему белые облака. Сахарно-голубые вершины их, клубясь, меняли очертания, наплывали и громоздились над краем зазеленевшей обдонской горы. Погромыхивал первый гром, и благостно, живительно пахло по хутору запахом распускающихся древесных почек, пресным черноземом оттаявшей земли. По синему разливу Дона ходили белогребнистые волны, низовый ветер нес влажную бодрящую сырость, терпкий запах гниющей листвы и мокрого дерева. Долевой клн зяби, лежавший на склоне бугра плюшево-черной заплатой, курился паром, струистое маршво рождалось и плыло над бутрами Обдонских гор, над самой дорогой упоенно заливался жаворонок, тоненько посвистывали перебегавшие дорогу суслики. А надо всем этим миром, дышавшим великим плодородием и изобилием жизнотворящих сил, — высокое и гордое солнце.

На середине хутора, возле мостка через ярлок, по которому еще бежала в Дон с веселым детским лепетом вешняя нагорная вода, Наталья остановилась. Налгнувшись,

будто бы для того, чтобы завязать ремешок у чирика, а на самом деле пряча от Григория лицо, спросила:

— Чего же ты молчишь?

— А об чем гутарить с тобой?

— Есть об чем... Рассказал бы, как пьянствовал под Каргинской, как с блудяшками вязался...

— А ты уж знаешь?— Григорий достал кисет, стал делать цыгарку. Смешанный с табаком-самосадам, сладко заблагоухал донник. Григорий затанулся, переспросил:

— Знаешь, стало быть? От ково?

— Знаю, ежели говорю. Весь хутор знает, есть от ково слышать.

— Ну, а раз знаешь, чего же и рассказывать.

Григорий крупно зашагал. По деревянному настилу мостка в прозрачной весенней тишине четко зазвучали его редкие шаги и отзвук дробной поступи Натальи, поспешавшей за ним. От мостка Наталья пошла молча, вытирая часто набегавшие слезы, а потом, проглотив рыдание, запинаясь, спросила:

— Опять за старое берешься?

— Оставь, Наталья!

— Кобелина проклятый, менаедный! За што ж ты меня опять мучаешь?

— Ты бы поменьше брехней слухала.

— Сам же признался!

— Тебе, видно, больше набрехали, чем на самом деле было. Ну, трошки виноват перед тобой... Она, жизня, Наташка, виноватит... Все время на краю смерти ходишь, ну и перелезешь иной раз через борозду...

— Дети у тебя уж вон какие! Как гляделками-то не совестно моргать!

— Ха! Совесть!— Григорий обнажил в улыбке кипенные зубы, засмеялся:

— Я об ней и думать позабыл. Какая уж там совесть, когда вся жизня похитнулась... Людей убиваешь... Неизвестно для чего всю эту кашу... Да ить как тебе сказать? Не поймешь ты! В тебе одна бабья лютость зараз горит, а до того ты не додумаешься, што мне сердце точит, кровя пьет... Я вот и к водке потянулся... Надьсь припадком меня вдарило... Сердце на кой миг возят остановилося, и холод пошел по телу...— Григорий потемнел лицом, тяжело выжимал из себя слова:— Трудно мне, через это и шаришь, чем бы забыться, водкой ли, бабой ли... Ты погоди! Дай мне сказать: у меня

вот тут сосет и сосет, картит все время... Неправильный у жизни ход, и может и я в этом виноватый... Зараз бы с красными надо замирииться и— на кадетов. А как? Кто нас сведет с советской властью? Как нашим общим обидам счет произвести? Половина казаков за Донцом, а какие тут остались,— остервелись, землю под собой грызут... Все у меня, Наташка, помутилось в голове... Вот и твой дед Гришака по Библии читал и говорит, што, мол, не вертомы свершили, не надо бы восставать... Батю твоево ругал.

— Дед— он уж умом рухнул! Теперь— твой черед!

— Вот только так ты и можешь рассуждать. На другое твой ум не подыметься...

— Ох, уж ты бы мне зубы не заговаривал! Напаксудил, обвиноватился, а теперь все на войну беду сворачиваешь. Все вы такие-то! Мало через тебя, чорта, я лиха приняла. Да и жалко уж, што тогда не до смерти зарезалась...

— Больше не об чем с тобой гутарить. Ежли чижело тебе, ты покричи, слеза вальше бабе горе завсегда мягчит. А я тебе зараз не утешник. Я так об чужую кровь измазался, што у меня уж и жали ни к кому не осталось. Детву— и эту почти не жалею, а об себе и думки нету. Война все из меня вычерпала. Я сам себе страшный стал... В душу ко мне плянь, а там чернота, как в пустом колодезе...

Они почти дошли до дома, когда из набежавшей серой тучки косою и ядреный брызнул дождь. Он прибил на дороге легкую пахнущую солнцем пыль, защелкал по крышам, пахнул свежестью, трепетным холодком. Григорий расстегнул шинель, одной рукой прикрыл навзрыд плачущую Наталью, обнял ее. Так под вешним резвым дождем они и на баз вошли, тесно прижавшись, покрытые одной шинелью.

Вечером Григорий ладил на базу запашник, проверял рукава сеялки. Пятнадцатилетний сынишка Семена Чугуна, выучившийся кузнечному ремеслу и оставшийся со дня восстания единственным кузнецом в Татарском, с трехом пополам наложил лемех на стареньком мелеховском плуге. Все было приготовлено к весенней работе. Быки вышли с зимовки в теле, в достатке хватило им приготовленного Пантелеем Прокофьевичем сена.

Наутро Григорий собирался ехать в

степь. Ильинична с Дуняшкой, на ночь глядя, затеялись топить печь, чтобы стготовить пахарю к заре харчи. Григорий думал поработать дней пять, посеять себе и теще, вспахать десятины две под бахчу и подсолнухи, а потом вызвать из оотни отца, чтобы он доканчивал посев.

Из трубы куреня вился сиреневый дымок, по базу бегала взматеревшая в девках Дуняшка, собирая сухой хворост на поджигки. Григорий поглядывал на ее округленный стан, на крутые скаты прудей, с грустью и досадой думал: «Эка девнища какая вымахала! Летит жизнь, как резвый конь. Давно ли Дуняшка была сопливой девчонкой; бывало, бегае, а по спине косички мотаются, как мышинные хвостики, а зараз уж вон она хучь нынче замуж. А я уж сединой побитый, все от меня отходит... Верно говорил дед Гришака: «Мельканула жизнь, как летний всполох». Тут и так коротко отмеряно человеку в жизни прйойти, а тут надо и этого срока лишаться... Тудить твою мать с такой забавой! Убыют, так гущай уж скорее».

К нему подошла Дарья. Она удивительно скоро оправилась после смерти Петра. Первое время тосковала, желтела от горя и даже будто состарилась. Но как только дунул вешний ветерок, едва лишь припрело солнце, и тоска Дарьяна ушла вместе со стаявшим снегом. На продолговатых щеках ее зацвел тонкий румянец, заблестели потускневшие было глаза, в походке появилась прежняя вьющаяся лепкость... Вернулись к ней и старые привычки: снова тонкие ободья бровей ее покрылись черной краской, щеки заблестели жировкой, вернулась к ней и охота пошутить, непотребным словом смутить Наталью, все чаще на губах ее стала появляться затуманенная ожиданием чего-то улыбка... Торжествующая жизнь взяла верх.

Она подошла к Григорию, стала улыбаться. Пряный запах огуречной помады исходил от ее красивого лица.

— Может подсобить в чем, Гришенька?

— Не в чем подсоблять.

— Ах, Григорий Пантелевич! До чего вы со мной, со вдовой, строгие стали! Не улыбаешься и даже плечиком не ворохнешь.

— Шла бы ты стряпаться, зубоскалая!

— Ах, какая надобность!

— Наталье бы подсобила. Мишатка вон бегае, прязней грязи.

— Ишо, чево не доставало! Вы их будете родить, а мне за вами замывать? Как бы не так! Наталья твоя, как трусиха¹ плодущая. Она их тебе нашибае, ишо штук десять. Этак я от рук отстану, обмываючи всех их.

— Будет, будет тебе! Ступай!

— Григорь Пантелевич! Вы зараз в хуторе один казак на всех. Не прогоняйте, дайте хучь издаля поглядеть на ваши черные завлекательные усы.

Григорий засмеялся, откинул с потного лба волосы.

— Но и ухо ты! Как с тобой Петро жил... У тебя уж, небось, не сорвется.

— Будьте покойные! — торделиво подтвердила Дарья и, поглядывая на Григория поигрывающими, прижмуренными глазами, с деланным испутом оглянулась на курень: — Ай, што-то мне показалось, кубыть Наталья вышла. До чего она у тебя ревнивая, — неподобно! Нынче, как полудновали, глянула я разок на тебя, так она ажник с лица сменилась. А мне уж вчера бабы молодые говорили: «Што это за права, казакков нету, а Гриша ваш приехал на побывку и от жены не отходит. А мы, дескать, как же должны жить? Хучь он и израненый, хучь от него и половинка супротив прежнева осталась, а мы бы и за эту половинку подержались бы с нашим удовольствием. Перекажи ему, штобы ночью по хутору не ходил, а то поймаем, беда он наживет!» Я им и сказала: «Нет, бабочки, Гриша наш только на чужих хуторах прихрамывает на короткую ножку, а дома он за Натальин подол держится без отступу. Он у нас с недавней поры святой стал...»

— Ну, и сука ты! — смеясь, беззлобно говорил Григорий. — У тебя язык — чистое помело!

— Уж какая есть. А вот Наташенька-то твоя писаная, немазаная, а вчера отшила тебя? Так тебе и надо, кобелю, не будешь через закон перелазить!

— Ну, ты вот чево... Ты иди, Дашка... Ты не путайся в чужие дела.

— Я и не путаюсь. Я это к тому, што дура твоя Наталья. Муж приехал, а она задае, ломает, как копеешный прянец, на сундуке легла... Вот уж я бы от казака зараз не отказалась! Попадись мне... Я бы и такова храброва, как ты, в страх вве-

¹ Кролячиха.

ла!..— Дарья скрипнула зубами, захохотала и пошла в курень, оглядываясь на смеющегося и смущенного Григория, поблескивая золотыми серьгами.

«Усчастливился ты, брат Петро, помереть...— думал развеселившийся Григорий.

— Это не Дарья, а распрочорт! От нее до поры до времени все одно помер бы!»

XLV

По хутору Бахмуткину гасли последние огни. Легкий морозец тончайшей пленкой льда крыл лужицы. Где-то за хутором, за толокой, на прошлогодней стерне опустились ночевать припозднившиеся журавли. Их сдержанное усталое курлыкание нес к хутору набегавший с северо-востока ветерок. И оно мягко оттеняло, подчеркивало умиротворенную тишину апрельской ночи. В садах густые копились тени; где-то мычала корова; потом все стихло. С полчася глухая покоилась тишина, нарушаемая лишь изредка тоскующей переключкой летевших и ночью куликов, да дребезжащим посвистом бесчисленных утиных крыльев: стаи уток летели, спешили, добираясь до привольной поймы разлившегося Дона. А потом на крайней улице зазвучали людские голоса, рдьяно загорелись огни цыгарок, слышался конский храп, хруст промерзшей пряжи, продавливаемой лошадиными копытами. В хутор, где стояло две повстанческих казачьих сотни, входивших в состав 6-й отдельной бригады, вернулся раз'езд. Казаки расположились на базу крайней хаты, переговариваясь, поставили к брошенным посреди база саням лошадей, положили им корма. Чей-то хрипчатый басок завел плясовую песню, тщательно выговаривая слова, устало и медленно выводил:

Помаленечку я шел,
Да потихонечку ступал,
И по прежней по любви
С девкой шутку зашутил.

И тотчас же задорный тенорок подголоска взмыл, как птица, над гудящим басом и весело с перебором начал:

Девка шутку не приняла,
Меня в щеку д'эх! вдарила,
Моя казачка сердечка
Была разгарчивая.

В песню подвалило еще несколько басов, темп ее ускорился, оживился, и тенор подго-

лоска, щеголяя высокими концами, уже звучал напористо и подмывающе весело:

Я праву ручку засучил,
Девку-да в ухо омочил.
Их: эта девочка стоит,
Как малинов свет горит,
Как малинов свет-да горит,
Сам-ма плачет, говорит:
«Що же ты мне есть за друг,
Ежли любишь семь подруг,
Восьмую — вдовую,
А девятаю жану,
А десягую, подлец, меня!»

И журавлиный крик на пустующих пашнях, и казачью песню, и свист утиных крыл в непроглядной черноте ночи слышали казаки, бывшие за ветряком в сторожевом охранении. Скучно было им лежать ночью на холодной, скованной морозцем земле. Ни тебе покурить, ни поговорить, ни посогреться ходьбой или кулачками. Лежи да лежи промеж подсолнечных прошлогодних будыльев, смотри в зияющую темнотой степь, слушай, прикинув ухом к земле. А в десяти шагах уже ничорта не видно, а шорохами так богата апрельская ночь, так много из темноты несетя подозрительных звуков, что любой из них будит тревогу: «Не идет ли, не ползет ли красноармейская разведка?» Как будто издали доносится треск сломанной бурьянины, сдержанное пыхтенье... Молодой казачишка Выпряжкин вытирает перчаткой набежавшую от напряжения слезинку, толкает локтем соседа. Тот дремлет, свернувшись калачом, полжив в голова кожаный подсумок; японский патронташ давит ему ребра, но он ленится лечь поудобней, не хочет пускать в плотно запахнутые полы шинели струю свежего ночного холода. Шорох бурьяна и сопенье нарастают и неожиданно звучат вот, возле самого Выпряжкина. Он приподнимается на локте, недоуменно смотрит сквозь плетнистый переплет бурьяна и с трудом различает очертания большого ежа. Еж торопко подвигается вперед по мышинному следу, опустив вниз крохотную свиную мордочку, сопя и черкая иголкой спиной по сухим бурьянным былкам. Вдруг он чувствует в нескольких шагах от себя присутствие чего-то враждебного и, подняв голову, видит рассматривающего его человека. Человек облегченно выдыхает воздух, шепчет:

— Чорт поганый! Как напужал-то...

А еж стремительно поджимает голову, втягивает ножки и с минуту лежит нащети-

нившимся клубком, потом медленно распрямляется, касается ногами холодной земли и катится скольльзящим серым комом, натываясь на подсолнечные будылья, принимающая сухой прах созревшей позители. И снова прядется тишина. И ночь — как сказка...

По хутору отголосили вторые кочета. Небо прояснилось. Сквозь редкое рядище облачков показались первые звезды. Потом ветер разметал облака, и небо глянуло на землю бесчисленными золотыми очами.

Вот в это-то время Выпряжкин и услышал впереди отчетливый шаг лошади, хруст бурьяна, звяк чего-то металлического, а немного погодя — и поскрипыванье седла. Услышали и остальные казаки. Пальцы легли на спуски винтовок. «Сготовьсь!» — шепнул помощник взводного.

На фоне звездного неба возник, словно вырезанный, силуэт всадника. Он ехал шагом по направлению к хутору.

— Сто-о-ой!.. Кто едет?.. Што пропуск?.

Казаки вскочили, готовые стрелять. Всадник остановился, поднял вверх руки.

— Товарищи, не стреляйте!

— Што пропуск?..

— Товарищи!..

— Што пропуск? Взво-о-од!..

— Стойте!.. Я один... Сдаюсь!..

— Погодите, братцы! Не стрелять!.. Живо возьмем!.. — помощник взводного подбежал к конному, Выпряжкин схватил коня за поводья. Всадник перенес ногу через седло, спешился.

— Ты кто таков? Красный? Ага, братцы, — он! Вот у него и звезда на папаче. По-па-ал-ся, ааа!..

Всадник, разминая ноги, уже спокойно говорил:

— Ведите меня к вашему начальнику. Я имею передать ему сообщение большой важности. Я — командир Сердобского полка и прибыл сюда для ведения переговоров.

— Команди-и-ир? Убить его, братцы, гада! Дай, Лука, я ему зараз...

— Товарищи! Убить меня вы можете всегда, но прежде дайте мне сообщить вашему начальнику то, для чего я приехал. Повторяю: это огромной важности дело. Пожалуйста, возьмите мое оружие, если вы боитесь, что я убегу...

Красный командир стал расстегивать портупей.

— Сымай! Сымай! — торопил его один из казаков.

Снятые наган и сабля перешли в руки помкомвзвода.

— Общайте сердобскова командира! — приказал он, садясь на принадлежавшего красному командиру коня.

Захваченного обыскали. Помкомвзвода и казак Выпряжкин погнали его в хутор. Он шел пешком, рядом с ним шагал Выпряжкин, неся наперевес австрийский карабин, а сзади ехал верхом довольный помкомвзвода.

Минут десять двигались молча. Конвоируемый часто закуривал, останавливаясь, полкой шинели прикрывая гаснущие на ветру спички. Запах хороших папирос вывел Выпряжкина из терпения:

— Дай-ка мне, — попросил он.

— Пожалуйста!

Выпряжкин взял кожаный походный портсигар, набитый папиросами, достал из него папироску, а портсигар сунул себе в карман. Красный командир промолчал, но спустя немного, когда уже вошли в хутор, спросил:

— Вы куда меня ведете?

— Там узнаешь.

— А все же?

— К командиру сотни.

— Вы меня ведите к командиру бригады Богатыреву.

— Нету тут такова.

— Как это — нет? Мне известно, что он вчера прибыл со штабом в Бахмуткин и сейчас здесь.

— Нам про это неизвестно...

— Ну, полноте, товарищи! Мне известно, а вам неизвестно. Это не есть военный секрет, особенно когда он уже стал известен вашим врагам.

— Иди, иди!

— Я иду. Так вы меня сведите к Богатыреву.

— Помалкивай. Мне с тобой по правилам службы не дозволено гутарить.

— А портсигар взять это дозволено по правилам службы?

— Мало ли што... Ступай, да язык придави, а то и шинелю зараз сопру! Ишь, обидчивый какой!

Сотенного насилиу растолкали. Он долго тер кулаками глаза, зевал, морщился и никак не мог уразуметь того, что ему говорил сияющий от радости помкомвзвода.

— Кто ты такой? Командир Сердобскова полка? А ты не брешешь? Давай документы.

Через несколько минут он вместе с красным командиром шел на квартиру командующего бригадой Богатырева. Богатырев вскочил, как эстрепанный, едва лишь услышал о том, что захвачен и приведен командир Сердобского полка. Он застегнул шаровары, набросил на свои плотные плечи подтяжки, зажег пятилинейную лампочку, спросил у стоящего на вытяжку возле двери красного командира.

— Вы — командир Сердобского полка?

— Да, я командир Сердобского полка Вороновский.

— Садитесь.

— Благодарю.

— Как вас... При каких условиях захватили?

— Я сам ехал к вам. Мне надо поговорить с вами наедине. Прикажете посторонним выйти.

Богатырев махнул рукой, и сотенный, пришедший с красным командиром, и стоявший с открытым ртом хозяин дома — рыжебородый старовёр — вышли. Богатырев, потирая голоостриженную темную и круглую, как арбуз, голову, сидел за столом с одной грязной нижней рубаше. Лицо его, с отчетливыми щеками и красными полосами от неловкого сна, выражало сдержанное любопытство.

Вороновский, невысокий плотный человек, в ловко подогнанной шинели, опоясанной наплечными офицерскими ремнями, расправил прямые плечи; под черными подстриженными усами его скользнула улыбка:

— Надеюсь, с офицером имею честь? Разрешите пару слов о себе, а потом уж о той миссии, с которой я к вам прибыл. Я в прошлом — дворянин по происхождению и штабс-капитан царской службы. В годы войны с Германией служил в 117-м Любимирском, стрелком полку, в 1918 году был мобилизован по декрету советского правительства как кадровый офицер, в настоящее время, как вам уже известно, командую в Красной армии Сердобским пол-

ком. Находясь в рядах Красной армии, я давно искал случая перейти на вашу... на сторону борющихся с большевиками.

— Долго вы, господин штабс-капитан, искали случая...

— Да, но мне хотелось искупить свою вину перед Россией, и не только самому перейти (это можно было бы осуществить давно), но и увести с собой красноармейскую часть, те ее элементы, конечно, наиболее здоровые, которые коммунистами были обмануты и вовлечены в эту братоубийственную войну.

Бывший штабс-капитан Вороновский глянул узко поставленными серыми глазами на Богатырева и, заметив его недоверчивую улыбку, вспыхнул, как девушка, заторопился:

— Естественно, господин Богатырев, что вы можете питать ко мне и моим словам известное недоверие... На вашем месте я, очевидно, испытывал бы такие же чувства. Вы разрешите мне доказать вам это фактами... Неопровержимыми фактами... — отвернув полу шинели, он достал из кармана защитных брюк перочинный нож, нагнувшись так, что заскрипели наплечные ремни, и осторожно стал подпарывать плотно зашитый борт шинели. Спустя минуту извлек из распоротой бортовки пожелтевшие бумаги и крохотную фотографическую карточку.

Богатырев внимательно прочитал документы. В одном из них удостоверюсь, что «предъявитель сего есть действительно поручик 117-го Любимирского стрелкового полка Вороновский, направляющийся после излечения в двухнедельный отпуск по месту жительства — в Смоленскую губернию». На удостоверении стояла печать и подпись главврача походного госпиталя № 8 14-й Сибирской стрелковой дивизии. Остальные документы на имя Вороновского непременно говорили о том что Вороновский подлинно был офицером, а с фотографической карточки на Богатырева глянули веселые узкие в поставе глаза молодого подпоручика Вороновского. На защитном шегольском френче поблескивал офицерский георгиевский крест, и девственная белизна погон резче оттеняла смуглые щеки подпоручика, темную полоску усов.

— Так што же? — спросил Богатырев.

— Я приехал сообщить вам, что мною, совместно с моим помощником — быв-

шим поручиком Волковым, красноармейцы сагитированы, и весь целиком состав Сердобского полка, разумеется, за исключением коммунистов, готов в любую минуту перейти на вашу сторону. Красноармейцы — почти все крестьяне Саратовской и Самарской губерний. Они согласны драться с большевиками. Нам необходимо сейчас же договориться с вами об условиях сдачи полка. Полк сейчас находится в Усть-Хоперской, в нем около пятисот штыков, в комьячке — тридцать восемь, плюс взвод из тридцати человек местных коммунистов. Мы захватим приданную нам батарею, причем прислугу, вероятно, придется уничтожить, так как там преобладающее большинство коммунистов. Среди моих красноармейцев идет брожение на почве тягот, которые несут их отцы от продразверстки... Мы воспользовались этим обстоятельством и склонили их на переход к казакам... к вам, то есть. У моих солдат есть опасения, как бы при сдаче полка не было над ними учинено насилия... Вот по этому вопросу, это, конечно, частности, но я и должен с вами договориться.

— Какое насилие может быть?

— Ну, убийства, ограбления...

— Нет, этого не допустим!

— И еще: солдаты настаивают на том, чтобы Сердобский полк был сохранен в своем составе и дрался с большевиками вместе с вами, но самостоятельной боевой единицей.

— Этова сказать я вам...

— Знаю! Знаю! Вы снесетесь с вашим высшим командованием и поставите нас в известность.

— Да, я должен сообщить в Вешки.

— Простите, у меня очень мало времени, и если я опоздаю на лишний час, то мое отсутствие может быть замечено комиссаром полка. Я считаю, что мы договоримся об условиях сдачи. Поторопитесь сообщить мне решение вашего командования. Полк могут перебросить к Донцу или пришлют новое пополнение и таким образом...

— Да я сейчас же с коннонарочным полком в Вешки.

— И еще: прикажите вашим казакам возвратить мне оружие. Меня не только обезоружили, — Вороновский оборвал свою гладкую речь и полусмущенно улыбнулся,

но и взяли... портсигар. Это, конечно, пустяк, но портсигар мне дорог, как фамильная вещь...

— Вам все вернут. Как вам сообщить, когда получу ответ из Вешек.

— К вам сюда, в Бахмуткин, придет через два дня женщина из Усть-Хоперской. Пароль... ну, допустим — «единение». Ей вы сообщите. Безусловно, на словах...

Через полчаса один из казаков Максаевской сотни наметом скакал на запад, в Вешенскую...

На другой день личный ординарец Кудинова прибыл в Бахмуткин, разыскал квартиру командира бригады — и, даже коня не привязав, вошел в курень, передал Григорию Богатыреву пакет с надписью: «В. срочно. Совершенно секретно». Богатырев с живейшим нетерпением сломал сургучевую печать. На бумаге, с бланком Верхне-Донского окружного совета, размашисто, рукою самого Кудинова было написано: «Доброго здоровья, Богатырев! Новость очень радостная. Уполномачиваем тебя вести с сердобцами переговоры и любой ценой склонить их на сдачу. Предлагаю пойти им на уступки и посулить, что примем полк целиком и даже обезоруживать не будем. Непременным условием поставь захват и выдачу коммунистов, комиссара полка, а главное наших вешенских, еланских и усть-хоперских коммунистов. Пускай обязательно захватят батарею, обоз, материальную часть. Всемерно ускорь это дело! К месту, куда прибудет полк, стяни побольше своих сил, потихоньку окружи и сейчас же приступи к обезоруживанию. Ежели зашеборшат, — выбей их всех до одного человека. Действуй осторожно, но решительно. Как только обезоружишь, — направляй гуртом весь полк в Вешенскую. Гони их правой стороной, так удобнее, затем, что на этой и фронт будет дальше, и степь голая, не уйдут, ежели опамтуются и вздумают убежать. Направляй их над Дном, по хуторам, а в назирку за ними пошли две конных сотни. В Вешках мы их по два, по три бойца рассортируем по сотням, поглядим, как они будут своих бить. А там — не наше дело, печаль: соединимся со своими, какие за Донцом, они их тогда пускай судят и делают с ними, что хотят. По мне хоть всех пускай перевешают. Не

жалко. Радуюсь твоей успешности. Каждодневно сообщай нарочным. Кудинов».

В приписке стояло:

«Ежели наших местных коммуняков сердобцы выдадут,— гони их под усиленным конвоем в Вешки, тоже по хуторам. Но сначала пропусти сердобцев. В конвой поручи отобрать самых надежных казаков (полутей, да стариковатых), пускай они их

гонют и народу широко заранее оповещают. Нам об них и руки поганить нечего, их бабы кольями побьют, ежели дело умело и с умом поставить. Понял? Нам эта политика выгодней: расстреляй их,— слух дойдет и до красных, мол, пленных расстреливают, а этак проще, народ на них натравить, гнев людской спустить, как цепного кобеля. Самосуд и все. Ни вопроса, ни ответа!»

(Продолжение следует)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

М. ШОЛОХОВ—Тихий дон. <i>Роман</i> (продолжение)	3
В. СТАВСКИЙ—Зарницы (продолжение)	22
А. ГИДАШ—Моряки. <i>Стих</i>	30
В. КУДАШЕВ—Камень на дороге. <i>Роман</i> (продолжение)	33
Э. Х. ВАФА—Дорого обошедшийся урок. <i>Стих</i>	50
Б. ЛЕВИН—Возвращение. <i>Рассказ</i>	52
Вл. РЕЗЧИКОВ—Груз. <i>Стих</i>	67
М. КИРЕЕВ—Думай, сосед. <i>Рассказ</i>	69
М. ИСАКОВСКИЙ—Разговор с лошастью. <i>Стих</i>	72
Ю. и В. КРТЯНЦ-ИВЛИЕВЫ—Из мотивов токаря. <i>Стих</i>	74

ЖИЗНЬ НАХОДУ

Г. КИШ—Карьера Адольфа Гитлера (продолжение)	75
В. ХАНДРОС—В стране мирабилита <i>Очерк</i> (окончание)	85
А. БОБУНОВ—Летчики. <i>Очерк</i>	92
Ф. ФЕДОТОВ—Небесные собаки. <i>Очерк</i>	102
ГАРТ СВИТ—«Пища для души». <i>Очерк</i>	109

КРИТИКА

И. НОВИЧ—Заметки о «Нашгороде» Горбатова	122
Е. ЗЛATOBA—Война лабораторий	129

БИБЛИОГРАФИЯ

Б. ДРУГОВ—И. Макаров—«Рейд «Черного Жука»	138
С. М-с—Л. Шипилин—«Крепче стали»	139
С. М-с—М. Вейс—«О чем рассказал Григорьев»	140
Г. К.—Ал. Зуев—«Тайбола»	141

Цена 1 р. 10 к.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1932 год

**НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ**

О К Т Я Б Р Ъ

Орган Российской и Московской ассоциации пролетарских писателей (РАПП и МАПП)

ГОД ИЗДАНИЯ 7-й

12 №№ В ГОД

ОКТАБРЬ группирует вокруг себя пролетарских писателей, растущий литературный молодецк и близких революции писателей советской интеллигенции.

ОКТАБРЬ печатает лучшие произведения пролетарской литературы, освещает важнейшие явления политической и культурной жизни страны, ведет борьбу за гегемонию пролетарской литературы.

В 1932 ГОДУ В ЖУРНАЛЕ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

- | | |
|---|---|
| 1. А. СЕРАФИМОВИЧ—„Борьба“, роман | 15. Я. ШВЕДОВ—„Поиски отечества“, повесть |
| 2. Ф. ПАНФЕРОВ—„Брусик“, кн. 3-я | 16. В. ГАЛИН—„Литье“, роман |
| 3. А. ИСБАХ—„Кадры“, роман | 17. Я. ИЛЬИН—„Большой конвейер“, роман |
| 4. М. ШОЛОХОВ—„Тихий Дон“, кн. 3-я | 18. А. ЧЕРНЕНКО—„Моряна“, роман |
| 5. В. СТАВСКИЙ—„Стаяца“, кн. 3-я | 19. И. ЖИГА—„Довбасс“, очерки |
| 6. А. ФАДЕЕВ—„Последний из удэгэ“, кн. 2-я | 20. А. КАРАВАЕВА—„Героизм“, рассказ |
| 7. БАБЕЛЬ—Рассказы | 21. В. ИЛЬЕНКОВ—Рассказ |
| 8. Б. ЯСЕНСКИЙ—„Таджикстан“, очерки | 22. Э. РИХТЕР—„Поход Осевэна, очерки |
| 9. М. ПЛАТОШКИН—„Развернутым фронтом“, роман | 23. Л. ОБАЛОВ—Роман |
| 10. БИЛЬД-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ—Пьеса и записки писателя | 24. В. БАХМЕТЬЕВ—Рассказ |
| 11. В. ГОРБАТОВ—„Горный исход“, повесть и роман „Жажда“ | 25. Г. КИШ—Очерки |
| 12. Л. ЛЕОНОВ—Повесть | 26. М. ЭГАРТ—„Опаленная земля“, роман |
| 13. В. ДУБРОВИН—„Конец Самодуровки“, кн. 2-я | 27. Еф. ПОЛОНСКИЙ—„Баку“, кн. 2-я |
| 14. А. МИТРОФАНОВ—„Северинка“, роман | 28. С. МСТИСЛАВСКИЙ—„Партизаны“, роман |
| | 29. История Коломенского завода, очерки |

СТИХИ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ, МЕМУАРЫ, СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ

В отделах: 1. ЖИЗНЬ НА ХОДУ. 2. ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ. 3. ПЕРЕЖИТОЕ 4. ПУБЛИЦИСТИКА. 5. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО. 6. КРИТИКА. 7. БИБЛИОГРАФИЯ.

Журнал рассчитан на партийный и комсомольский актив, рабочих ударников, учающихся, широкие писательские слои и литкружковцев.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—12 р., на 6 мес.—6 р., на 3 мес.—3 р.
Отдельный номер—1 р. 10 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ всеми отделениями и магазинами Книгоцентра, его уполномоченными и всюду на почте